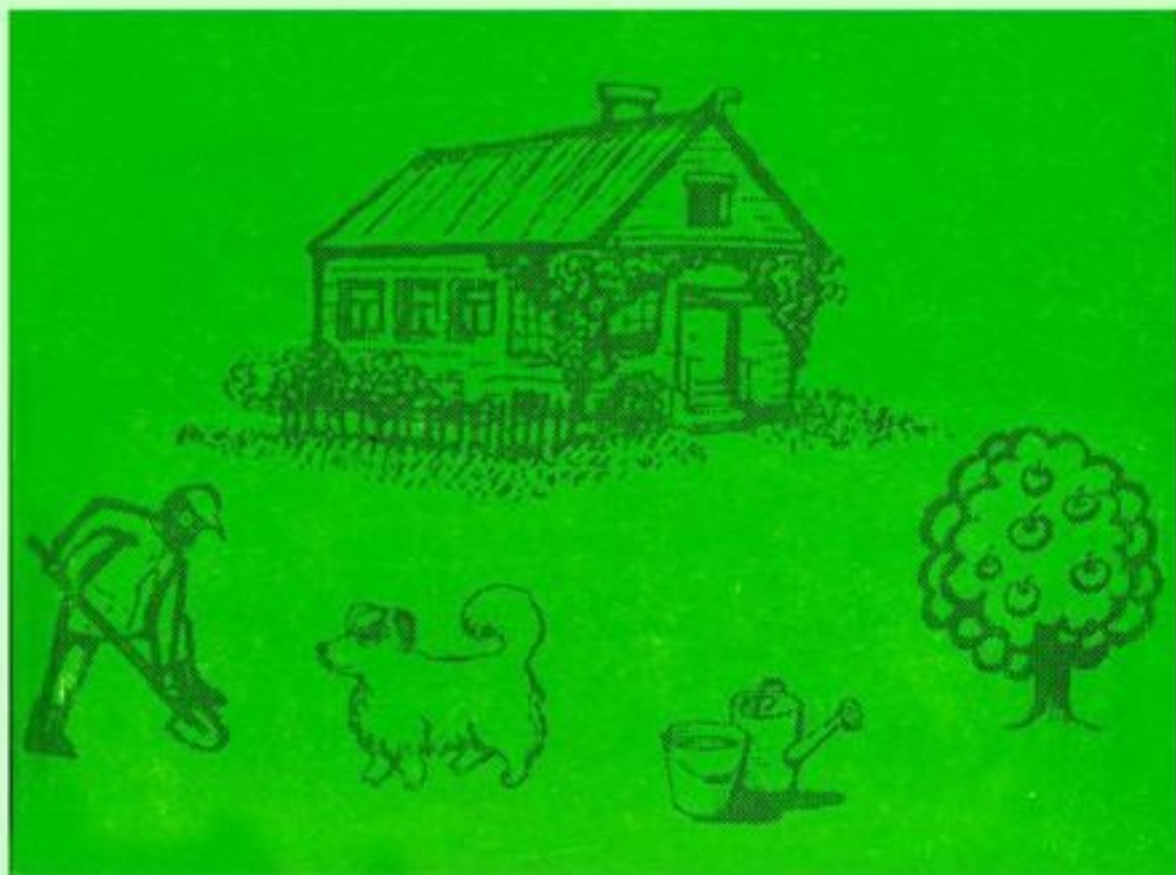


Мария Кротова

Бавыкинский дневник

Воспоминания двадцатого века



Мария Кротова

**Бавыкинский дневник.
Воспоминания двадцатого века**

«Издательские решения»

Кротова М.

Бавыкинский дневник. Воспоминания двадцатого века /
М. Кротова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837278-0

Здесь собраны дневники и воспоминания последних лет Марии Кротовой, работавшей в школах, детдомах, пионерлагерях. Тридцатые годы, военное время, эвакуация в Новосибирск, работа в туберкулёзном санатории, послевоенные десятилетия, а также размышления о воспитании, множество педагогических ситуаций и приёмов, честный взгляд на свою жизнь — всё это делает книгу выразительной и самобытной. Сплетение неторопливого ритма повседневности с яркими картинами прошлого создаёт особую интригу повествования.

ISBN 978-5-44-837278-0

© Кротова М.
© Издательские решения

Содержание

Тетрадь первая	6
Это просто заметки	6
Наши развлечения	8
Как я жила в пионерлагерях	9
Отдельные лагерные моменты	9
Начало войны	11
Эвакуация	12
Туберкулёзный санаторий в Мочище	15
Первомайский утренник	19
Сибирь	21
Ещё о Сибири	22
Возвращение в Москву	23
Лирическое отступление	23
Сороковая школа	25
Общественная работа	26
Нашла библиотечную книжку	29
Профсоюз	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Бавыкинский дневник

Воспоминания двадцатого века

Мария Кротова

© Мария Кротова, 2017

ISBN 978-5-4483-7278-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рисунки на обложке: Анна Кротова.

Редакция и послесловие: Виктор Кротов

Тетрадь первая (конец 1982 года)

Это просто заметки 19.11.82

Еще одни мемуары?
Дневник?
Исповедь? Нет.

Это просто заметки о прошлом и настоящем для внуков и вообще для тех, кому это может понадобиться. А также для себя – чтобы не забыть сделать то или другое. Ведь я всё время что-нибудь забываю. Ничего не поделаешь – становлюсь старой. Впрочем, сейчас деликатно называют нас, пенсионеров: немолодая женщина или пожилой человек. А в деревне попросту говорят мне: «Бабка, слезаешь на краю?» (в автобусе до Тимашёва). И хоть я уже давно (благодаря Анюте) бабка, ужасно хочется побыть молодой, подвижной, заводной... Особенно когда по радио заиграют Штрауса, так хочется (я это иногда делаю) покружиться, только через пять поворотов вынуждена прислониться к стенке.

Счастлива ли я? Нет. Вижу, как наш дед, мой муж, которого я помню здоровым, сильным, мучается рядом со мной, теряет зрение, слух. Он не может рисовать, плохо различает цвета, не слышит разговоров. По утрам еле встаёт со своего кресла-кровати, кряхтит; по ночам стонет от болей во всём теле. Он ничего не ест, кроме яйца, белого хлеба, творога, чаю, а хочется ему многого.

Внуки – это счастье? Да. Но Бореньку я вижу полчаса в месяц – практически влиять на него не могу, помочь – тоже. Аня и Саша с каждым годом будут возле меня всё меньше: есть лагеря, берег моря, а потом – свои семьи. Марик и Матюшка ещё долго будут приезжать, но в городе их растят по-своему. В перспективе будет приезжать и Машенька, Муся-Пуся, Мариночка. Это хорошо.

Сыновья – это счастье? Сколько часов в год я с ними общаюсь? Нужно ли им это общение? Вряд ли. У них столько друзей. Моего исчезновения они бы почти не заметили.

Если бы у меня были большие сбережения и я жила бы в Москве, то могла бы:

- отпустить на работу лёнину Наташу и сидеть с Машенькой;
- помочь средствами Максиму и освободить ему время и силы для интересной работы;
- иногда создавать видимость домашнего очага для Вити.

Это всё если бы да кабы.

But things like this
Are idle dreams,
And I stay here.

(Но вещи такого рода – всего лишь досужие мечты, и я остаюсь здесь. *Англ.*)

Лиха беда начало. Интересно, приедет ли сегодня или завтра Максим?

Для памяти:

- Починить бельё Гане.
- Сшить второй вкладыш.
- Постирать цветное.

Наши развлечения 20.11.82

Вчера был серый, мокрый, длинный день. Натаскала воды для стирки, но на плите Ганя варил картошку для кур, а плита плохо горела, поэтому греть воду было не на чем. Стирать буду сейчас. А пока Ганя во дворе, урвала время для письма, вернее для этой тетради.

Что делает во дворе Ганя? Второй день мучается с баланом. Полено попало свиловатое (закрученное винтом). Не поддаётся ни колуну, ни пиле, ни клинью. Ганя стоит на коленях на мокрой земле под «небольшими осадками», и они с поленом терзают друг друга. Тоже способ самоутверждения.

Наши развлечения: две партии в шахматы (1:1), кроссворд, партия в «505» (домино) и кошачий цирк в течение всего дня (две кошки + три котёнка). И зачем телевизор?

Читала Гане статьи из «Литературной газеты», вспоминали войну. Дочитала все журналы, завтра надо будет обменять в библиотеке.

Письмо от Наташи.

Приезжал Максим и в этот же день уехал. Марика не привёз из-за плохой погоды. Рассказывал интересные вещи из своих изысканий в архиве – про Болотникова и др. Даже Ганя активно включился в разговор. Рассказывал и кое-что в дополнение к газетам. Увёз чёрного котенка, который ему очень понравился.

Написала Анюте и Дее.
Постирала и бельё.

Как я жила в пионерлагерях 21.11.82

1929 год. Мне девять лет, в лагере я первый раз, я здесь самая младшая. Мы вместе с Деей – ей уже 11 лет. Лагерь маленький – человек 50, санаторного типа, где-то около Белоомута. Начальник лагеря помешан на закаливании. Нам выдали казённую одежду – чёрные сатиновые трусики и белую безрукавку. Ходили босиком. В любую погоду не позволяли ничего надевать. Ну и мерзли же мы!

Развлечения: из куска песчаника ножичком или стёклышком выскребали лодочки, корбочки и т. п. Страх: в кабинете врача стоял скелет. Я его ужасно боялась. Первое оскорбление: какой-то мальчишка плюнул на меня, и прямо на голую руку. Я не стирала слювок – думала, все увидят и мальчишку накажут. Но никто не обращал внимания. Первый приз: на викторине ответила, когда родился и умер Ленин, получила красный с синим карандаш. Кормёжка: ухитрялись нас кормить 6 раз в день. Как – сама не понимаю. Радость: приехал мой папа и добился, что мне выдали ботинки (я была худенькая).

Солотча. Это курортное место в 20 км от Рязани. Я там каждое лето жила: то в лагере, то на даче, а последний раз – в 1937 году – в доме отдыха, где мой отец работал врачом.

Лагерь в бывшем монастыре. Этот монастырь и сейчас стоит. Но тогда интереса к старине не было, а просто использовали пустое помещение. Огромные спальни с высоченными потоками и маленькими окнами. На стенах и на потолках – фрески со святыми, тёмные, закопчённые. Мы, маленькие, очень боялись ночью выходить в туалет – во двор. Поэтому лестница – огромная, каменная – вся была записана.

Девочки ходили в шароварах – пышных, но коротких, как юбочки. Мои шаровары были сшиты из бабушкиной юбки – тёмно-синие, шуршащие. Я очень ими гордилась – ни у кого не было таких! Тщеславие в 9 лет.

Целыми днями сидели у монастырской стены в тенёчке, играли в камушки и пели песни: «Аванти, пополо!» (итальянское «Бандера росса»), «Через речку перешли, на полянке сели», «Там вдали за рекой».

Потом каждый год я одну-две смены жила в Солотче в санаторных лагерях. Это мне дало очень много для моей будущей работы в пионерских лагерях. Там я узнала все танцы (массовые), аттракционы, проведение линейки, костров и т. п.

Отдельные лагерные моменты

В палатах нас было по 10 человек. Вечерами, когда взрослые уходили, мы веселились от души: скакали, бросались подушками. Один раз подушка лопнула; оказалось, что она набита разноцветными, яркими попугайными перьями! Мы их все разобрали по рукам, а наволочку выбросили. Не знаю, как потом за неё отчитывалась воспитательница.

Когда мне было лет 14, я играла в теннис (училась). Поиграла две недели. Потом мне попали мячиком в переносицу и сломали очки. За это время я так сильно сбавила в весе, что меня положили в изолятор и отпаивали молоком.

Массовые танцы устраивали на зелёном лугу. В кругу одновременно танцевали человек 200. Играл баян. До сих пор помню «вальс с переходом», когда каждый тур заканчивался двумя шагами вперёд – каждый участник встречался с новым партнёром и так обходил по кругу

всех, пока не встречался с тем, с кем начинал танец. Па были очень простые. Помню восторг от встречи со «своим» партнером и общий вопль «ура!».

Самое интересное в лагере было – пересменка. Большинство ребят разъезжалось, оставались десятка два с путевками на вторую смену. Мы жили дня три-четыре как хотели, никаких линеек, потом застилали койки во всех корпусах. Собирались в клубе, я брэнчала на разбитом пианино «Девушку из маленькой таверны», и мы хором пели песню (моего, разумеется, сочинения):

Шум и крики были на площадке,
Там играли часто в волейбол,
А теперь уехали ребятки
И не видно там уж никого.

Солотча – райский уголок. Сосны, земляника, речка, белые песчаные пляжи. Я мечтала побывать там взрослой. Моя сестра Дея со своим внуком Серёжей как-то отдыхала там на турбазе, а мне не удалось, и теперь уже, конечно, не удастся. Но если моим внукам когда-нибудь случится достать путёвку в дом отдыха или на турбазу в Солотче – вспомните меня. Впрочем, там, как и везде, наверняка лес стал редким, мох вытопан, речка обмелела, пляжи загрязнились. Надеюсь, что воздух остался прежним – сосновым.

Начало войны 22.11.82

Разбирала с Геней Панфиловым его рассказ.

А вообще весь день сидела дома, хотя была хорошая погода. Погладила бельё, кое-что починила, сделала творог.

Сыграли в шахматы (1,5: 1,5) – Ганя выиграл первую партию, чему очень обрадовался, а я ещё больше.

Читала журналы, в том числе и вслух, слушала по радио передачу «Отцы и дети».

Получила письмо и бандероль от Нелли из Магадана.

Когда началась война, я сдавала экзамены за четвёртый курс ИФЛИ¹. Война началась 22-го июня, а 23-го я сдавала русскую литературу 19-го века (вторую половину). К четвёртому курсу я наловчилась всё сдавать на «отлично».

В институте было настроение ликвидации. Нам разрешили сдать госэкзамены без пятого курса. Всем нам казалось, что нормальная жизнь никогда не вернётся. Наши мальчики все пошли добровольцами. Мы (компания девочек) получили бланки, где должны были расписаться профессора в приёме госэкзаменов (формальность).

Приехали мы домой к Дмитрию Николаевичу Ушакову (составителю известного толкового словаря). Он сидел в кресле у стола, заваленного бумагами, бледный и небритый. Комната заставлена чемоданами. Мы, перебивая друг друга, объяснили суть дела. Ушаков рассеянно нас выслушал и сказал: «Какие могут быть экзамены? Давайте бумажку, я подпишу».

Эту бумагу – документ о сдаче госэкзаменов – я возила в сумочке, когда ехала в эшелоне в Сибирь. В конце ноября, когда моя одиссея подходила к концу, я купила на новосибирском вокзале полкило соленых грибов, чёрных, скользких шляпок. За неимением другой тары, грибы я завернула в этот документ, благо бумага была большая, глянцевая, плотная. А потом её, размокшую, выбросила. Впоследствии это обошлось мне в три года учёбы в в Заочном пед-институте. Без этого у меня считалось незаконченное высшее образование. Это сказывалось на зарплате, а потом снизило бы и пенсию.

¹ Московский институт философии, литературы и истории.

Эвакуация 22.11.82

Вечер. День прошел бледненько, серенько.

Что такое – ехать в эшелоне?

В институте нам всем предложили ехать в Министерство просвещения распределяться на работу. Мне было всё равно. Я получила направление в Хабаровский край, но туда меня не пустили бы, так как у меня не было пропуска. Мой папа, который очень боялся, что немцы возьмут Москву и старался спасти хотя бы меня (сам он был начальником госпиталя), достал мне место в эшелон, который уходил на восток.

16-го октября 1941 года. Страшный день. В учреждениях жгли документы, по улицам летали чёрные хлопья бумаги. Метро закрыли (на некоторых станциях прятали что-то государственной важности). Бомбили каждый день. Ночью отец отвёз меня на машине на Курский вокзал. Три часа мы сидели с ним прямо на площади, ожидая посадки в эшелон. В ночном небе наши самолёты сражались с немецкими бомбардировщиками. Потом по немецким самолётам били наши зенитки. Пули были трассирующие, как будто небо прошивалось красными, зелёными, жёлтыми нитками. Прожектора скрещивались, и в их скрещении были видны серебряный крестик немецкого самолёта. Три самолёта сбили. Я это видела сама. От «крестика» шёл чёрный дым, самолёт падал где-то далеко. Я очень боялась.

Потом пошли к эшелону, попрощались – и я осталась в вагоне, а папа ушёл. Тогда я не понимала, каково было ему одному остаться в Москве: моя мама с пятнадцатилетним братом Борисом уехала со школьным интернатом в город Маркс, сестра Дея с мужем Петей и двухлетней Галкой тоже уехала ещё раньше.

И вот я еду в вагоне. Эшелон составлен из дачных вагонов, их тащит паровоз. Нас в вагоне более 60 человек. Места сидячие. Здесь я жила около полутора месяцев. Спать было негде. Те, кто ехал семьёй, спали по двое на лавке, а я сначала спала сидя, потом договорились с другими молодыми одиночками и спали по очереди – по три часа.

Всё время хотелось спать и всё время хотелось есть. Запасов еды у меня с собой не было. Нам полагалось по 400 граммов хлеба в день, но это бывало редко. Иногда поезд останавливался в чистом поле, где получить хлеб было нельзя. Чаще выдавали по 4 больших «армейских» сухаря. Не было у меня и чайника. Кипяток мне из жалости давали, но редко. Я очень голодала.

Холодно было очень. Потом выпал снег. Снег был и в вагоне. Мы сложились и купили «буржуйку» – круглую железную печку. Топили углём. Около печки было тепло. Уголь мы воровали с платформ соседних поездов. Это было страшно. Надо было залезть на платформу (на станции) и набрать ведро угля, потом под вагонами пробираться к своему эшелону – ночью, конечно. Каждый раз рисковали: а вдруг состав, под которым пролезаешь, тронется?

Один раз ночью эшелон остановился на какой-то станции. Буфет был открыт и работал без карточек! Я съела миску щей со свиной – после двух недель голода. В результате я заболела и не умерла, думаю, только по молодости лет. Три дня лежала без памяти. Нашлись добрые люди. Уложили меня, да ещё стирали моё одеяло, на котором я спала, так как у меня был страшный колит. С высокой температурой я бредила, и все были уверены, что я умру. Когда я встала, то по списку для всех детей выдавали овсяную кашу. Меня вписали как ребёнка, и дали блюдце каши. Раньше я её не любила и называла «сопливая каша», но это съела с блаженством и до сих пор люблю.

Самое ужасное в эшелоне. Во-первых, замёрз туалет. Туалет забили гвоздями. Поезд шёл без остановок сутками. Чтобы «сходить в туалет», высовывались в двери, а тебя двое держали за руки.

И ещё страшное – вши. Умываться не было возможности, а помылись мы в бане один раз – в Вятке. Баня была по-чёрному, мыла маленький кусочек, мочалки не было. Волосы не промылись, слиплись. Завшивели все. Всё тело чесалось. Бельевые вши светлые, крупные. Мы их вытряхивали на буржуйку. Пахло жареным. Когда вышли из эшелона, нас направили в санпропускник. Все вещи прожарили. А волосы я сзади забрала в горсть и отстригла ножницами вместе с живностью.

В вагоне была группа молодёжи. Нас посылали за углём, за хлебом для всех и т. д. Книг не было. Мы флиртовали немного, читали наизусть стихи – Есенина, Маяковского, пели, но главное – вспоминали, какие вкусные вещи ели в Москве: булочки с кремом по рублю, пирожные, а ещё были везде «московские горячие с булочкой пятьдесят копеек» котлеты.

Однажды поезд остановился в чистом поле. Крикнули, что продают молоко. Мы никогда не знали, сколько времени будет стоять поезд, но надеялись на удачу. Побежала и я. Деревенская баба на подводе действительно продавала молоко, но у меня не было посуды, и я выпила литр молока, холодного, как лёд, прямо из глиняной миски, не отрываясь. А вообще я молоко терпеть не могла. Но с тех пор люблю, только сырое и холодное, как тогда, в ноябре 1941 г. в чистом поле.

Однажды сказали, что эшелон будет стоять в поле несколько часов. Из всех вагонов высыпали эвакуированные и стали разжигать костры и кипятить чай. Я разжигала тоже, делать это не умела, прожгла на зимнем пальто дыру прямо на животе. Потом сделала заплату и так ходила. Зато у костра мне дали печёной картошки.

С водой мне было трудно: не взяла с собой чайника, а была только красная пластмассовая чашечка с блюдцем (их тогда только начали выпускать). Запастись водой я не могла, просить – стеснялась. Кипятку в чашечку из крана на перроне набрать было трудно, и я очень мучилась без чаю.

Нас довезли до Новосибирска, потом повезли в Алма-Ату. Там сказали, что вагоны будут дезинфицировать, а потом эшелон вернётся в Новосибирск, так как в Алма-Ате нам не разрешают выходить и не пропишут. Мы вышли в здание вокзала. Часов в 10 вечера милиционеры-казахи очень грубо выгнали всех на улицу, чтобы вокзал могли убрать. Мне пришлось очень трудно, потому что я только-только сняла валенки, разрезав сзади, так как ноги распухли. Валенки я натянуть не смогла, и в чулках вышла из здания вокзала и села у стены, завернув ноги в одеяло. Подушку я положила на колени и попробовала заснуть, но было ужасно холодно, морозно, и я не заснула, а дремала понемногу. Очнулась от солнечного луча, он бил из-за снежной розовой вершины горы. Горы я видела первый раз в жизни и обалдела. Потом я обалдела от изобилия на алма-атинском рынке, куда приковыляла в поисках чего бы поесть. Купила баночку простокваши с толстой коричневой пенкой. Потом в какой-то харчевне съела миску мясной лапши, от еды опьянела окончательно.

Всю дорогу до Новосибирска мы грызли крупные полосатые семечки. Они пахли, естественно, подсолнечным маслом, и мне казалось, что я ем олады. В конце концов кончик языка от семечек распух, и я долго не могла говорить.

Один мой попутчик, инженер, очень солидный, ехавший с женой, взрослой дочкой и внучкой, уговаривал меня поехать с ними в Кемерово, где он будет главным инженером комбината, работать у него секретаршей, а там видно будет. Буду иметь жильё, паёк и перспективу. Но судьба решила иначе.

В Новосибирске нам объявили, что эшелон дальше не пойдёт. Было 1 декабря 1941 г. Я вышла из санпропускника. На большом пальце у меня был нарыв, он очень болел, весь палец позеленел, а внизу была уже чёрная кромка.

Победив страх перед учреждениями, я вошла в вокзальную парикмахерскую, выпросила ватку, смоченную одеколоном, проколола нарыв, из которого хлынул мерзкий гной, замотала тряпкой. Дёргать палец перестало, и я пошла искать еду. В буфете купила полкило чёрных

скользких грибных шляпок, завернула в единственную свою бумажку – это был плотный глянецовый документ о сдаче госэкзаменов – а зачем он мне? Потом в уголке съела, с тех пор люблю грибы. Завернулась в одеяло, легла в углу на мраморный пол, положила голову на рюкзак и подушку и заснула среди шаркающих ног и плевков. Мне было хорошо. После санпропускника тело не чесалось. Эшелон кончился. В Кемерово я не поехала.

Туберкулёзный санаторий в Мочище 25.11.82

Что-то я спутала числа. Прошел один день, а по числам получилось – три. Да и какая разница? Все дни одинаковы.

Ездилa вчера в город, купила сахарный песок и широкую плёнку – накрывать грядки с огурцами.

Вечером произошло несчастье: я придавила котёнка, и он сдох. А сегодня и второй еле двигался, пришлось его уничтожить. Они голодали – у Дымки не было молока, а лакать они никак не могли выучиться. Больше под зиму котят оставлять не буду.

Начала читать вслух Гане повесть Бориса Васильева в «Юности» – «Летят мои кони» (мемуары). Нам обоим нравится.

На вокзале в Новосибирске я утром столкнулась с девушкой, которая меня узнала (я её нет). Это была Муся Калмыкова. Она училась с моей сестрой и жила на Стромьнке, где меня и видела (студенческое общежитие). Муся дала мне записку к матери, которая жила в Новосибирске. Сама Муся уезжала в командировку, но она работала в обкоме комсомола и посоветовала, к кому обратиться, чтобы устроиться на работу. Муся меня спасла.

Я вышла на улицу Новосибирска. Было за 40 градусов мороза. Я завернула ноги купленными в киоске газетами и ухитрилась добраться в набитом битком трамвае до дома Калмыковых. Там я 10 дней спала на стульях, меня кормили мясными щами, давали кусочек хлеба. Потом я уходила в город и часами стояла на морозе в очереди в кафе. Там без карточек давали миску вермишели, и я выстаивала очередь три раза. Есть мне зверски хотелось всё время, и понадобилось полгода, чтобы прошло это постоянное чувство голода и боязнь остаться без хлеба. Хлеб люблю до сих пор больше любой еды.

Через 10 дней меня вместе с десятком детишек усадили в набитые сеном розвальни, закутали кучей одеял с головой, и нас повезли за 20 км в Мочище, где мне предстояло работать пионервожатой.

В полной темноте нас везли по дороге между стен деревьев. Вдруг розвальни остановились. Нас раскутали и сунули прямо в горячую баню. Мне надели всё казённое – это был детский туберкулёзный санаторий.

Волосы я состригла, но со вшами ещё долго воевала. Главврач (директор) санатория, оказалось, в Тамбове работал под руководством моего отца. Он дал мне три дня на отдых и назначил детское питание.

Я здорово наголодалась. После обеда, когда все уходили из столовой, я собирала по столам кусочки хлеба, прятала и ела ночью. Иногда таскала чёрные сухари, которые лежали в шкафу в коридоре для больных детей. Никак не могла наесться. Хлеб там был только белый, чёрного мало. Через месяц я очень потолстела – столько ела. К тому же каждый день гуляла (с ребятами), с ребятами спала после обеда (на веранде – в спальном мешке). Подозревали даже, что я беременна, но не от кого было.

Работала очень много – с подъема до отбоя, без выходных. Утром занималась с детьми – 2, 3, 4 классы – русским языком и историей, а потом русским языком с пятью старшими ребятами.

Учителей не хватало, и мне часто приходилось их заменять. Работала так: две смежные комнаты. В одной сидят дети 1-го и 3-го классов (человек 10 всего), в другой – 2-го и 4-го классов (тоже человек 10). А я одна их учу. Первачки списывают, 3-му классу объясню и дам задание выучить, потом иду в другой класс. Проверю у 2-го класса упражнение, расскажу 4-му классу тему по истории. Беда в том, что я всегда любила увлекать детей материалом, и вот

2-ой класс уже не пишет, а слушает, развесив уши, что я рассказываю про Петра Первого четвероклассникам.

Потом привезли костников, потом московских детей, с которыми приехали московские педагоги и врачи. Это отделение стало филиалом Московского туберкулёзного института, где работали известные профессора, вроде Краснобаева и Похитоновой.

Летом приехали усовершенствоваться врачи из Новосибирска, специализировавшиеся по костному туберкулёзу, и я возле них училась читать рентгенограммы и делать гипсовые «кроватьки» костникам. Научилась терминам «коксит», «гонит», «спондилит» и перестала пугаться детей, привязанных к кроватям. Некоторые были с гипсовыми ошейниками.

Тридцать два человека были привезены с Западной Украины. Это были польские евреи, украинцы. По-русски говорили плохо. У большинства был туберкулёз лимфатических желез. Это были сироты из детдомов, от шести до пятнадцати лет. А костные больные были все местные. Они лежали в гипсовых «кроватьках» по форме тела, были привязаны лифчиками к кроватям, могли двигать только руками. Потом приехали человек пятьдесят из Москвы – лёгочные, многие «палочковые», то есть с открытой формой. У них была отдельная посуда и спальни, но учились все вместе, и вообще это разделение было чисто условное. Когда мой папа узнал, что у меня контакт с «палочковыми», он был в панике и потребовал, чтобы я немедленно меняла место работы, чтобы не заболеть туберкулёзом. Но я не заболела, хотя некоторые дети умирали буквально у меня на руках.

Год и три месяца я жила, как у Христа за пазухой. Рассказывала без конца всё, что знала, помнила и выдумывала. Играла во всякие игры. Принимала в пионеры. Проводила праздники. Не с кем было проконсультироваться, никаких методкабинетов, завуч была местная – пожилая учительница, очень неразвитая. Был только журнал «Затейник».

С детьми была целый день. Сначала я работала только с лёгочными, потом и с костными больными. Больше всего рассказывала – о Москве (дети-москвичи приехали гораздо позже), сказки, «Три толстяка», «Дон-Кихот», «Принц и нищий», и так до бесконечности. Готовила самодеятельность – по журналу «Затейник» и по памяти. Разговаривала со старшими мальчиками «о жизни».

Дети меня слушались, потому что я была молодая, весёлая и целый день с ними возилась. Проводила с ними игры, танцы, которые помнила по своей пионерской жизни в лагере. Мой авторитет был основан на любви, на моей – к ним, и на их – ко мне. Вероятно, они меня любили за то, что я была способна увлекаться играми, как они; обижаться на них, как и они на меня; приходить в азарт, как они; и придумывала всякие интересные штуки. Вечером, когда все лежали в кроватях, я старалась хоть на минуту присесть к каждому, пощекотать, погладить, пошептаться о какой-то общей тайне.

Особенно дружеские отношения у меня сложились с пятью мальчиками 14—15 лет. У них был туберкулёз лимфатических желёз – свищи на шее. Их лечили собачьей лимфой. Некоторые выздоровели, а двое умерли – об этом потом. Все эти мальчики были сиротами из детдомов Западной Украины, польские евреи. Я их учила русскому языку, эти занятия мы называли «лицей».

Один из мальчиков – Юсим (по-древнееврейски «сирота») – с тонким нервным лицом, нежный, черноглазый, писал стихи. К сожалению, писал на еврейском языке, я не понимала, но звучали они ритмично. Разница в возрасте у нас была небольшая, и все они немного за мной ухаживали. Мы катались с гор на санях, валились в сугробы, это нас как-то сближало. Младший из них, Мендель Шпрингер, хромой, но с длинными ресницами, по-мальчишески меня «обожал». Я с ним виделась ещё один раз через 15—16 лет. Он приехал в Москву, был уже женат там, в Сибири, и с тоской вспоминал наш «лицей». По-моему, он пил, и сильно. С Юсимом я переписывалась – он был уже в армии, я ему посылала книги. Тойво умер от туберкулёзного менингита в три дня под Новый 1943 год. Ему было пятнадцать лет.

Первое дело, когда я начала работать, была ёлка. Новый год 1942 встречали с детьми. Я пешком ходила в Новосибирск (одна, зимой, и не боялась) за игрушками. Каждому был подарок приготовлен. Я сама была Дедом Морозом. Потом я часто была в роли Деда Мороза, но это был первый раз, и я очень волновалась. Из своего фланелевого халата я сделала шубу, обшив его ватой. Из ваты сделала бороду и усы. Очки сняла, но меня узнали по валенкам с разрезами.

Ёлку я проводила в комнате размером с класс. Только украшали не ёлку (ёлок там не было), а пушистую сосенку, у неё было пять верхушек. Мы склеили много игрушек-фонариков, флажков, цепей. Но цепи, склеенные из цветной бумаги, мне велели снять как «символ рабства». Поделка игрушек очень сблизила меня с детьми. Их было тогда мало – человек 40 (костников привезли позже).

Около ёлки я показывала детям движения танцев, потом садилась за пианино и играла то, что помнила с детства: польку, «барыню», краковяк, вальс. С бородой было жарко, нос нельзя было вытереть из-за усов, но веселились всюду. Вдруг в дверь, забитую наглухо – со двора на второй этаж зимой не ходили – громко постучали. Вытащили гвозди, и вошёл, к общему изумлению, ещё один Дед Мороз, в снегу, с мешком и палкой. Он оделил всех детей морковками, потом стал плясать и петь частушки, в которых высмеивались работники санатория, включая директора. Когда этот Дед Мороз вошёл, я просто окаменела, а потом стала обнимать его и воскликнула: «А вот и брат мой пришел!» Кто это был, я узнала нескоро. И никто тогда не узнал таинственного гостя. Это по своей инициативе сделала одна работница с подсобного хозяйства.

А война? Вот странно, ведь это был 1942 год, шла война, а я об этом не пишу. О войне мы думали всё время. Слушали сводки, переживали за всё, но война казалась очень далёкой, а все мелочи нашей жизни – близкими. Из-за того, что упрямая девочка Песя не желала есть капусту со сметаной, я огорчалась больше, чем из-за блокады Ленинграда: ведь это было так далеко, почти нереально.

Папа мой в самые тяжёлые дни был в Москве один. Письма он мне писал часто, очень редко – мама. Иногда папа посылал мне посылки – мои платья, свою каракулевую шапку, немного сладкого. Посылал мне каждую неделю бандероль с газетами, целую пачку – «Вечернюю Москву» и др. Я их читала с жадностью, прочитывала от корки до корки, давала и другим москвичам. Прочитанные газеты сдавала на кухню, а мне за это иногда давали булочки, которые пекли для детей: хоть я и здорово поправилась, но постоянно хотела есть, никогда не чувствовала себя сытой. Это чувство у меня не проходило очень долго. По-моему, я перестала ощущать постоянный голод примерно в 1948 году, но потом, работая в детдомах, опять всегда хотела есть.

До сих пор помню первую статью о Зое Космодемьянской под заглавием «Таня» с ужасными фотографиями Зои, снятой с виселицы, с верёвкой на шее. Помню пьесу Корнейчука «Фронт», и мы все поразились, ведь это первый раз осмеливались как-то критически изобразить генерала Красной Армии. Нам казалось, что небеса разверзнутся и гром поразит смельчака, рискнувшего что-то критиковать при Сталине, чьё имя вызывало у нас почтение и страх. Тогда я не понимала, что это – политика.

Каждый день мы слушали последние известия очень поздно вечером, так как время уходило вперёд московского на четыре часа. Приёмничек работал плохо, мы (москвичи) все прямо прижимались к нему ухом. Сводки были очень плохие, кроме того, что немцев отогнали от Москвы. И хотя все сводки заканчивались бодрими маршами и перечислением трофеев, но голос Левитана был мрачный, мы чувствовали, что ТАМ очень тяжело.

Мы были далеко, снабжались больные дети хорошо, и мы не голодали, не стояли в очередях, не видели карточек (их сдавали на кухню), не мёрзли. Но почти у всех были родные в армии. Мой двоюродный брат Эмка, любимый мною в 15 лет, был убит в первый же день

войны на молдавской границе. В газетах печатались страстные призывы «Убей немца», и я этих немцев ненавидела, стараясь внушить эту ненависть и детям.

Зарплату я обычно на руки не получала. Не помню даже, сколько я зарабатывала. Деньги были мне не нужны, всё равно на них ничего нельзя было купить. Я расписывалась в ведомости, а деньги просила отдать в Фонд обороны. Кто ими пользовался, не знаю. Когда папа мой из Москвы прислал мне свою каракулевую шапку, я её тоже отдала в этот фонд, хотя сейчас думаю, что вряд ли она до какого-нибудь «фонда» дошла.

Продуктовые карточки мы сдавали на кухню, оттуда получали еду. Однажды вдруг летом 1942 года нам выдали на руки часть талонов и сказали, что талоны на масло и сахар можно «отоварить» в Новосибирске. Я пошла в Новосибирск, пешком туда и обратно за один день, получила на «жиры» кусок сыра (больше полкило), а на «сахар» – пластовый мармелад – 400 гр. Все это я по кусочку, по кусочку съела на обратном пути. Насладилась.

Очень тосковала по сладкому, особенно по домашним пирожкам и тортам. На Новый год был пирог, сладкий, я прямо затряслась над своим куском. На мой день рождения дети подарили мне газетный сверток с зачерствевшими кусками сдобы, которую им давали к чаю. Они долго копили эти куски, и я их все съела пополам со слезами.

Была там одна девочка, польская еврейка, лет четырнадцати, черноглазая, со сросшимися чёрными бровями, матовой кожей и отвратительным характером: упрямая, вздорная, властная. Её звали Песя. Она меня обожала по-институтски, потому что я была с ней терпелива и держалась «на равных».

И вот один раз я при Песе похвалила ресницы самой младшей из девочек, умственно-отсталой шестилетней Хаси. Действительно, я ей на ресницы положила 4 спички, и эти длинные загнутые ресницы выдержали! Утром бедная Хася встаёт без ресниц: Песя ночью отстригла ей ресницы под корень. Потом ресницы выросли ещё длиннее, но волоски стали толстыми и уже не загибались.

Уже будучи в Москве, я переписывалась с Песей. Она кончила фармацевтическое училище в Новосибирске, работала на фабрике и была очень несчастна со своим характером. Я ничем не могла ей помочь.

Первомайский утренник 27.11.82

Вчера не смогла улучшить время для записей.

Еле-еле уговорила Ганю помыться. Для этого мероприятия я обеспечиваю воду, Ганя – тепло. Помогала вымыть голову, отмыть спину. Мытьё отнимает у Гани много сил, зато я радуюсь, глядя на его чистое лицо, пушистую бороду и отмытые руки. Воды было много, и я ещё постирала.

Сегодня поджидала Лёню (его очередь была привезти творог), а когда в 12 его не было, я оделась, чтобы пойти в Тимашёво. В дверях мы с Лёней столкнулись. Как же обрадовался Ганя! Я тоже, но он просто был счастлив. Лёня поел и началось домино.

Я возилась на кухне, готовила пудинг, печенье «треугольнички» и слушала, как они играли: с шуточками, с подначиванием. Мне очень хотелось, чтобы выиграл Ганя. Одну партию он-таки выиграл с большим перевесом. Много ли старику надо? Он был рад, как ребёнок.

Закончила Анюте фартук – подарок ей ко дню рождения. Нарядный, отделан шитьём. Отправлю ей бандеролью.

Приходила Таня Панфилова. Они втроём играли в домино, очень веселились. Пили чай со свежим печеньем. Лёня объяснял, почему режиссёр Тарковский, по его мнению, подонок. Таня с ужасом слушала, как Лёня громовым голосом ниспровергает авторитеты, пыталась робко возражать, но фильмы, о которых шла речь, помнила плохо, а книг не читала, поэтому защитить не могла. Бедный Тарковский!

Однажды на Первое мая (1942 г.) я готовила утренник. Сама написала сценарий и костюмы все делала сама. Целыми днями репетировала с детьми, а вечерами допоздна делала костюмы, вспоминая своё пионерское детство.

На утреннике в президиуме сидели представители «разных национальностей»: китаец, негр, японка и т. д. Каждый говорил приветствие от своей страны. «Негру» на голову надели чёрный чулок, прорезали дырки для глаз, обметали ниткой, прорезь для рта обшили красным. Для «китайца» сделали косу, надев на голову чулок и разрезав на три части, а потом сплели. Несколько часов делала я веер для «японки»: складной, со «стильным» рисунком (разрисовала его деревцами в японском духе). Конечно, я знала, что из зала веер не рассмотришь, но сама «японка» прониклась его реальностью, тем более, что в её причёску я воткнула «настоящие японские» шпильки с цветными головками из пластилина. «Узбечке» я сделала 40 (!) косичек из списанных в кастильянской чёрных чулок.

Самое главное – во время общей работы с детьми с ними легче беседовать о чём угодно. Они в это время забывают о разнице возраста и положения, очень искренни, откровенны. Во время общей работы я обычно разрешала мелкие конфликты, стригла попутно ногти тем, у кого они слишком быстро росли, отвечала на вопросы. Когда заняты руки, особенно задушевные разговоры ведутся. Поэтому я и пуговицы пришивала, и чулки штопала себе и детям, и стенгазету рисовала в плотном детском окружении. Этому я научилась в Сибири, а потом успешно пользовалась таким приёмом в школе, в детдомах, в пионерлагере и... в собственной семье.

Ещё были у меня в представлении утки (высмеивались газетные «утки» геббельсовской пропаганды). Шила им тапочки из кумача с трёхпалой картонной подмёткой и с завязочкой – 6 штук надо было. Сделала белые шапочки с красными клювами. Помню, как «утки» сплетничали:

– Говорят, метро на фронт отправят!

- Без убежища Москву оставят?
- Говорят, уже в автомобили
- Все, как есть, тоннели погрузили...

Готовила я к утреннику и «костников». Они делали упражнения с красными флажками. Правда, они неподвижно лежали в кроватях, но руками взмахивали очень старательно, скрещивали и опускали флажки. Я их принимала в пионеры. Они очень волновались, давая торжественное обещание. Поверх голубых фланелевых распашонок я повязала им красные галстуки, они отдали салют. И пели песни того времени.

Несмотря на то, что я очень много работала с детьми, не помню, чтобы я чувствовала себя усталой. Было какое-то нервное напряжение, подъём, что ли? А ведь меня, как молодую и одинокую, всё время посылали, кроме основной работы, на тяжёлую физическую работу. Например, рыли траншею под водопровод – летом, в жару. Делали плетень вокруг огорода на подсобном хозяйстве из черёмухи и рябины – это нелегко, но меня научили. Пикировали помидорную рассаду, собирали малину. Десять дней копали картофель. Была поздняя осень, дожди, холод, это была трудная работа, но зато здорово кормили картошкой с маслом. Несколько раз разгружали уголь из вагонов узкоколейки. Заготавливали дрова: валили сосны, пилили, обрубали сучья. Странно, сколько всего я научилась делать, а потом забыла всё.

Мне часто приходилось заменять сестёр и нянечек в палатах костников. Однажды кормила пятилетнего малыша с больным позвоночником. Он лежал на спине без подушки с гипсовым ошейником, в лифчике, привязанный к кровати. Как у большинства костников, у него не было аппетита, а я уговаривала его есть помидор. Совала ложечкой в рот по кусочкам и хвалила: «Смотри, какой красный, да как пахнет» и т. д. Напоминаю непосвящённым: и тогда не могла, и сейчас не могу съесть ни кусочка помидора, даже запаха не выношу. Что ж, *poblesse oblige* (положение обязывает).

Однажды в комнате у костников был карантин по скарлатине, и меня к ним приставили на полный день. Это длилось дней 10—12. Вот была тоска! Книг и игрушек не давали. Как хочешь, так и развлекай. Дело было летом. И вот я изощрялась. Нарвала груды кленовых листьев, научила делать из них пояса, шляпы, корзинки... Вырезала из бумаги кукол и устраивала театр. Принесла в банке гнездо полевой мыши с голыми розовыми мышатами, каждому подносила к кровати, смотрели полдня. Отгадывала задуманную вещь, букву. Играли в слоги. Вот тогда я уставала.

Новый год 1943. На этот раз я проводила ёлку и для костников. На огромную веранду выкатили полсотни кроватей с детьми, закутанными в спальные мешки. Очень долго устанавливали кровати так, чтобы спинки никому не мешали смотреть. На веранде сделали «эстраду» из досок. Я опять была Дедом Морозом, а дочка одной из сотрудниц была наряжена Петрушкой и помогала мне развлекать детей. Я раздавала кульки с гостинцами. Кульки шила сама из марли, покрашенной в разные цвета. После ёлки встречали Новый год с «лёгочниками» за праздничным столом, потом я в костюме Деда Мороза ходила по квартирам сотрудников, у которых были дети, и носила им гостинцы. Санаторские собаки, не узнав меня, бегали за мной и оборвали ватный подол на халате. Потом мы, москвичи, встречали Новый год «по-московски»: когда по-сибирски было 4 часа утра.

Утром я пошла отнести гостинец в маленькую палату к «умирашке». Так наши нянечки называли детей, обречённых на скорую смерть от туберкулёза. Сейчас бы их вылечили, а тогда не умели. На этот раз в палате лежала чудная девочка, красавица Роза Ященко, лет четырнадцати. Ей оставалось жить день или два. Я отдала ей пакет с гостинцами, села возле неё со своей бородой, а она сказала: «Мария Лазаревна, я скоро умру, потому что почти ничего не вижу. Я это знаю. Очень вас прошу, когда приедете в Москву, поцелуйте за меня первого милиционера, которого увидите». Роза не знала, что отец её убит, а мать умерла.

Сибирь 29.11.82

Сегодня уехал Лёня. Вчера он болел – ангина, грипп. Подлечила, как могла, стрептоцидом и малиной. Как-то доехал? С собой взял немного, так что шёл налегке. Сразу стало тихо и грустно.

За эти дни починила Вите еще две пары брюк, так что можно начинать шить себе фартук. Чулки тоже все починила. Всё погладила. На очереди – стирать простыни и наволочки.

Письма от Анюты, Деи, Веры Григорьевны.

За время работы в санатории я никуда не ездила, была только несколько раз в Новосибирске. Сибирская природа приводила меня в восторг своим изобилием. Земля была – как чёрное масло, даже на вид жирная, и на ней росло всё очень высокое, густое и большое: огромные сосны; картошка такая, что, тряхнув на уборке один куст, наполняли чуть не ведро; капуста вообще неподъёмная. На острове посреди Оби росли кусты смородины – беспризорной! – чёрные от огромных ягод. Летом цвели целые поляны «огоньков» или «жарков» – оранжевых, пышных цветов. Даже крапива была намного выше меня.

В Оби летом я купалась. Там течение очень сильное, и на ту сторону (на остров) я переплыть так и не смогла. На остров мы плыли на лодке и набирали ведрами чёрную смородину, но комары нас съедали. Зимой на остров ходили на лыжах и собирали красные ягоды шиповника для соседнего госпиталя.

Хорошо ли быть маминной дочкой? Такой была я до санатория, и мне пришлось туго. Я не умела наколоть дров, истопить печь. Не умела держать лопату, когда мы копали канаву для водопроводных труб. Не умела обрубать сучья для сосны, когда мы ездили заготавливать дрова для санатория. Не умела постирать – даже своё бельё. Всеми этому пришлось учиться – и спешно – под насмешливыми взглядами окружающих.

Я училась собирать малину над подсобном хозяйстве и не хныкать, когда крапива обжигала руки. Научилась рубить кусты рябины, возить их на волах и плести из веток плетень – и даже заплетать углы. А главное – здесь, в санатории, я научилась работать с детьми, не бояться любой аудитории, вступать в контакт с больными, озорниками, малышами, подростками. Я научилась укладывать их спать, придумывать игры, которые потом так выручали меня в пионерской работе.

Одному я не могла выучиться, мучилась из-за этого и там, и всю дальнейшую жизнь: я не умела говорить без напряжения связок, то есть у меня не был поставлен голос. Я периодически его «срывала», теряла напрочь голос и «шипела» как пропойца. Позже, в школе, я еле говорила уже к пятому уроку, в пионерлагере хрипела уже через десять дней работы.

Но, пройдя практику сибирского санатория, я вернулась – наконец-то! – взрослой. Когда я начала работать в московской школе, вопрос дисциплины меня никогда не затруднял. Правда, школа во время войны была женская. Но и потом я без опаски входила в любой класс, в любой зал, могла организовать 400, 500 человек для чего угодно, вплоть до 600 пионеров в зелёном театре пионерлагеря «Москвич», а что говорить про один класс или один пионерский отряд. Про детдом я пока молчу – впрочем, там я была не одна, а с Ганей, то есть с папой, то есть с дедушкой, с Гавриилом Яковлевичем, и учил меня он.

Вообще, вспоминая прошлое, я вижу, что училась всю жизнь. Училась жить, да так и не научилась.

Ещё о Сибири 30.11.82

Ответила Аняте. Хотела поехать в город, но Ганя сказал, что моросит, и я передумала. Письмо отдала Кате Самошиной. А зря. Погода была хорошая.

Поеду завтра. А сегодня устроила стирку с кипячением. Постирала коврик с кресла, хотя всё равно Бим, Ганя и кошки на другой день вернут его в первобытное состояние.

Сегодня последний раз брала молоко. Теперь творог только из Москвы надо возить. Начала шить себе фартук из Витиной рубашки, но не успела закончить.

Ещё насчёт того, чему я училась всю жизнь и чему научилась. Главное: я научилась терпеть и прощать.

Работая в санатории, я слушала сводки с фронтов, читала газеты, но весь ужас происходящего до меня доходил плохо. Я как-то легкомысленно все воспринимала. Переживала гораздо больше из-за того, что на прогулке при -50 градусах отморозила себе нос, чем из-за того, что мой папа один в Москве. Я ещё не знала, что мама в эвакуации голодает и потеряла половину веса. Я как-то не осознавала масштабов войны и потерь.

В санатории у меня был роман с врачом, который стажировался по костному туберкулёзу. Он жил в Новосибирске, был женат, у него был шестилетний сын. Какое счастье, что мой папа вовремя прислал мне вызов в Москву (официальный документ из Минздрава). А то я могла сделать непростительную глупость – разбить семью, лишит ребёнка отца. Я уехала без сожаления. Любви-то не было – так, флирт от молодости. Встретилась с этим врачом через 13 лет. Он приезжал в Москву лечиться от ожирения, разыскал меня. Через три года снова приезжал в командировку, покупал вещички для внучки. Смешно.

Мой «авторитет любви» среди детей сослужил мне в Сибири плохую службу. Местные сибирские воспитатели ревновали ко мне детей, а завуч (старший педагог) Фаина (отчества и фамилии не помню) подложила мне свинью, считая, что дети не любят её из-за меня. Месть её была утончённой.

Дело было в том, что я жила в одном корпусе с детьми, в комнате, где жили медсестра и ещё одна молодая уборщица. Обычно я вставала рано, будила детей и делала с ними зарядку. Однажды летом после затянувшейся прогулки с В.В. я проспала, и Фаина не разрешила меня будить. Я опоздала на работу на целый час, а по закону тех военных лет за двадцатиминутное опоздание отдавали под суд. Фаина написала на меня докладную главврачу, обвиняя меня в сознательном прогуле.

Желая показать пример принципиальности и «подвинтить» дисциплину, главврач отдал меня под суд. Я пешком пошла в Новосибирск и нашла там суд. Молоденькая судья после краткого допроса велела мне выйти (вместо того, чтобы удалиться на совещание, – да и совещаться было не с кем), потом позвала обратно, встала и прочитала приговор, начинавшийся словами: «Именем Российской...»

Меня приговорили к трём месяцам принудительных работ по месту службы с вычетом 20% из зарплаты. Так как зарплату я всё равно отдавала в Фонд обороны (кроме платы за питание), то приговор я выслушала с лёгким сердцем и пошла домой (20 км +20 км в один день). Это была моя первая судимость, надеюсь, последняя, хотя есть пословица: от суммы и от тюрьмы не зарекайся.

Возвращение в Москву 2.12.82

Очень трудно садиться писать, чтобы Ганя не заинтересовался, что я пишу и почему не ложусь спать. Даже если я позволю себе (очень редко) читать не за едой, а просто так, он насмешливо спрашивает, не детектив ли я читаю. Что делать? Я люблю и детективы, и фантастику, которой он не понимает и не любит.

Вчера ездила в Боровск, купила Биму рыбу мороженую, отправила Анюте бандероль с фартуком – заранее, вдруг потом погода будет плохая для поездки? И точно: сегодня подул сильный северный ветер, а прогноз на завтра: -14 градусов. Это уже зима. А снега нет. Как-то перенесут это тюльпаны, незабудки, нарциссы, колокольчики?

Сегодня погладила бельё и кое-что постирала, вымыла и т. д. Последний раз перед обновлением «молочной реки» сделала творог. Одной заботой меньше.

Лирическое отступление

У нас тикают и бьют часы с кукушкой, тикает будильник, тикают часы на кухне. День начинается с того, что я завожу все часы. Кончается день подтягиванием гирь на ходиках, а Ганя срывает листок календаря. Вчера я перевернула листы на двух ежемесячных табель-календарях (новый месяц).

Часы бегают, дни мелькают... Зачем я тороплю их? Хочется поскорее приезда детей, внуков, хочется Нового года, потом жду каникул... А когда остановлюсь на минуту, повторяю вслед за Ганей: ещё на день ближе к смерти. А вот привычка за всю жизнь – следить за временем и зря его не тратить.

Возвращение в Москву в 1943 г. – февраль. Ехала больше недели. Приехала вечером. Ехала через всю Москву на трамвае. Казалось, что очень жарко (уезжала из Новосибирска – было минус 40 градусов с лишним, а в Москве только минус 12). Звоню в нашу коммунальную квартиру на Клинической. Соседка, Вера Ивановна, спрашивает: «Кто там?». Говорю: «Муся». – «Какая? У нас таких нет!» (Это она пошутила.) Прихожу в комнату – мама, папа, Дея и Борис: вся семья в сборе. Борис стал взрослый, говорит басом – ужасно было смешно. Какое было счастье – вернуться домой!

Через несколько дней я уже работала старшей пионервожатой в школе номер 40. Там учились одни девочки. Это было скучновато и неинтересно – без мальчишек, а поэтому трудно. Например, ставили мы спектакль «Капитан Петухов», и роль героя-капитана играла Лена Горюхова, пятиклассница. Конечно, убожество. Еще почище было: в восьмом классе я устроила пушкинский вечер. Сцена у фонтана. Самозванец – девочка. Сцена в келье. Пимен – девочка.

Была война. Многие уже потеряли отцов на фронте. Многие жили впроголодь. По карточкам давали мало.

Несмотря на то, что мы получали много продуктов по «аттестату» отца (он был начальником госпиталя в Тамбове), есть мне хотелось всегда. Особенно я мучилась в школе, когда раздавала на завтрак ученицам большие тёплые булочки с маком. Они строго учитывались. Если ученица болела, буллик ей относили домой. Учителям буллик не полагался. До сих пор чувствую запах булликов. Дети не догадывались, что нам, учителям, тоже хочется есть. Может быть, не всем, но мне хотелось. И до сих пор я обожаю такие булочки, вспоминая те, военного времени.

Учителям давали карточку с талонами. Карточка называлась УДП (Усиленное Дополнительное Питание). Полагалась одна карточка на трёх-четырёх человек, и мы ходили в столовую

по очереди. Там давали на первое – щи или постный суп с картошкой, на второе – пюре, иногда кусочек рыбы или даже котлету. Порции были маленькие, и мы расшифровывали УДП так: Умрешь Днём Позже. Иногда эти обеды я брала в судочках домой, где тоже были едоки. За хлебом в булочных стояли в очередях. Карточки отменили в 1947 году, но хлеб ещё «давали» по норме.

Помню, как в 1944 году Ганя приехал с фронта, а я принесла в судочках обед УДП из столовых. Ганя посмотрел в судок со щами, где плавал какой-то силос, и молча выплеснул его в унитаз. Потом нарезал сала в сковороду, поджарил, выложил туда банку американской тушенки, и мы пообедали «сало с салом».

Сколько же мне пришлось стоять в очередях! Всегда у нас чего-нибудь не хватало. Я ещё помню, как в очереди вели длиннейшие списки, устраивали переклички, а номера писали на ладони или на тыльной стороне руке чернильным карандашом. В 1944 году я стояла в очереди на Петровке, номер на руке был трёхзначным. Достались мне (о, счастье!) две эмалированные кастрюльки, литровые. Одну из них я подарила учительнице Марии Андреевне Гаевской. Она жила недалеко от нас, на Плющихе, напротив военной академии им. Фрунзе. Пустую кастрюльку нести было неудобно. Я сварила сладкую молочную рисовую кашу, завернула кастрюльку в шерстяной плед и донесла кашу горячей. Съели мы её вместе. Эта кастрюлька и сейчас у неё есть.

Сороковая школа

3.12.82

Получила письма от Саши, от Марика, от Иры. Сколько удовольствия я получила от этих писем. Сашок пишет красиво, аккуратно, почти без ошибок. А Марик развивается прямо на глазах. Странно, что не пишет Витя. Вероятно, что-нибудь у него случилось неприятное. Когда нет долго известий, всегда кажется, что случилось что-то неприятное. И почти всегда правильно.

Сегодня первый холодный день (-15 градусов), а снега нет. Весь день сидела дома. Починила сумку (одну из трёх, привезённых Витюшкой). Проводила «культурную работу»: шахматы, домино, кроссворды, слушали радио.

Ганя надел первый раз новые валенки. Он сильно мёрзнет, даже дома.

В школе №40 я всегда вела общественную работу. Была членом комсомольского бюро районной учительской организации – синекура. Два раза в месяц заседали, что-то обсуждали... только время тратили. Потом была и секретарём бюро. Выбрали членом ревизионной комиссии РК ВЛКСМ, но ни разу не собирали эту комиссию, зато была красная книжечка – зачем, не знаю!

Потом приняли меня в кандидаты партии, и я целый год занималась в кандидатской школе, где нас учила программе и уставу старая (по возрасту и стажу в партии) большевичка Глафира Ивановна Окулова. Я относилась ко всему очень серьёзно. В районе меня считали хорошей пионервожатой. Я старалась выполнять все ЦУ (ценные указания), которыми нас накачивали. Правда, многое мне не нравилось, многое было формальным, да всё и невозможно было сделать.

В школе ко мне относились вроде бы неплохо, но сейчас, вспоминая и обдумывая те годы, я поняла, что многим учителям я была как бельмо на глазу и они меня терпеть не могли. За что? Я была очень «заводная», придумывала всякие утренники, сборы дружины, соревнования, и классные руководители поневоле должны были со своими отрядами работать сверх нормированного времени: репетировать, готовить костюмы, разучивать песни и т. п. Одни учителя не умели этого делать, другие – не хотели. Если бы не я, они жили бы спокойно. Тогда я этого не понимала. Жила дома на всём готовом, целый день торчала в школе и не соображала, что многие учителя (все были старше меня) имеют семьи, детей, хотят поскорее уйти домой, а там ещё и тетрадки... Да, я многого не понимала. Мне казалось, что меня все должны любить и уважать.

Потом, когда произошла катастрофа и я осталась одна, стало очень заметно, кто из моих коллег враждебен мне, кто равнодушен, а кто искренне сочувствует. Таких оказалось... раз, два и обчёлся. Вот так. Изменить своё отношение к работе я не могла, да и не хотела. Теперь только, всё перебирая в памяти, я понимаю, что очень многие мои сослуживцы меня терпеть не могли, считали, что я «выпендриваюсь», «грехи замаливаю», «выслуживаюсь» и пр.

Общественная работа

5.12.82

Вчера неожиданно приехал Витя, так что не записывала. До этого сходила в Тимашёво, купила хлеб и яблоки, которые пришлось весьма кстати (рубль за килограмм). Я спекла яблоки в тесте, и мы с Витюшей их съели.

Узнала, что продавщица (Тамара) принимает бутылки, но не за деньги, а за яблоки или лук (они портятся). Сегодня вымыла 20 бутылок, оставшихся на чердаке от прежних хозяев дома, и, когда провожала Витю к автобусу, отнесла в рюкзаке бутылки. Тамара стояла на остановке, магазин был закрыт, но она дала ключ от склада, и я оставила бутылки там, а во вторник приду за яблоками. Интересно, какая будет коммерция.

Отдала Вите 3 пары починенных брюк.

Несколько лет в школе №40 я была секретарём парторганизации. Очень неприятная работа. За всё, что происходит в школе, я отвечала перед райкомом партии, имела много обязанностей, но при этом никаких прав. Тратила массу времени на заседания партбюро (два раза в месяц), партсобрания (раз в месяц), учёбу секретарей (накачивание – раз в месяц) + составление и перепечатку решений, протоколов, планов + работа пропагандистом (руководство семинаром учителей) и + бесконечность. Каждый раз после очередного инструктажа в райкоме («вы должны, вы обязаны») голова кругом шла. Потом привыкла, многое не делала.

Очень удручали всякие официальные установки, по которым приходилось делать доклады. Часто должна была отстаивать вещи, которые сама считала глупостью, но партийная дисциплина обязывала. Например: мне приходилось доказывать, убеждать, что существовавшее несколько лет одиннадцатилетнее обучение в средней школе очень своевременно и нужно. Вите пришлось учиться одиннадцать лет (потерял год), а потом это отменили, и я в тех же аудиториях выступала с докладами и доказывала, что одиннадцатый год не оправдал надежд. Надо было доказывать необходимость отдельного обучения (мальчики и девочки в разных школах), а потом ещё большую необходимость соединения их в совместных школах. А уж когда приходилось выносить решения о культе Сталина или ошибках Хрущева – тут и говорить нечего.

Долгие годы прошли с тех пор, как я стала членом партии. Вступала в кандидаты в 1944 году, в члены приняли – в 1945. Сейчас, когда я уже «старая коммунистка», после всех «культов», «ошибок», «разоблачений» и «реабилитаций» мне бывает тяжело сознавать, что я несу какую-то долю вины за всё, что происходило в стране. Может быть, то, что рядовые коммунисты, к которым я относилась, ничего не знали, слишком верили всему, как-то меня оправдывает? Не знаю. Идти в райком и сдавать партбилет? Верный способ получить инфаркт и опорочить всех членов семьи, а уж когда я осталась без Гани – и говорить нечего. Трудно вступить в партию, но добровольно выйти из неё – невозможно.

Два года назад меня чуть не исключили из партии. При этом я сохраняла полное спокойствие, но чувствовала себя ужасно, хотя – казалось бы – зачем мне сейчас этот партбилет? Наверное, сила шаблона, традиции, привычка берёт верх над логикой.

Пожалуй, стоит «для потомков» коротко написать, за что же такую твердокаменную коммунистку собрались исключать из партии. После ухода на пенсию я, естественно, снялась с учёта в школе и встала на учёт в парторганизации ЖЭК-1 (то есть в жилуправлении по месту жительства). По сравнению с большинством числящихся в этой организации членов партии я была ещё молодая и здоровая + учительница + опыт работы, поэтому меня быстренько сделали сначала редактором стенгазеты, а потом заместителем секретаря бюро по идеологической работе. Я честно и добросовестно изображала деятельность: ко всем праздникам выпускала стенгазеты, проводила лекции, составляла планы, протоколы, решения и т. д.

Потом я стала постоянно жить в деревне, не стала ездить на партсоборания, взносы за меня часто платила Ира – со скандалом. В бюро были старые, ортодоксальные «парт. тётки Моти» и «парт. тётки Авдотьи». Они вечно ссорились друг с другом, ругались даже матом, каждая хотела неограниченной власти в бюро. То, что я оторвалась от парторганизации, бесило их. Они распустили сплетни, что я живу как помещица, что у меня корова, поросёнок и т.д., что я всё продаю на рынке.

Они стали требовать, чтобы я снялась с учёта или приезжала на партсоборания и политучебу. Наконец, потребовали, чтобы я пришла на партбюро. Там секретарь Репина произнесла речь, где чуть ли не назвала меня врагом народа и проехала по адресу моего мужа. Стали голосовать – кто за исключение. Ждали, что я буду плакать, умолять не исключать, но не дождалась. Потом один более рассудительный старик высказался в том смысле, что исключение в райкоме не утвердят, так как у меня никогда не было взысканий, а я активно работала в партии. В общем, постановили вынести строгий выговор с предупреждением.

Я заявила, что ни на партсоборание, ни в райком я не явлюсь, так как не хочу прежде времени умирать от инфаркта, как уже в течение года умерли наш бывший секретарь Григорьев (его эти бабы довели) и бывшая редактор стенгазеты Лукшанская Мария Карповна (её увезли в больницу прямо после бюро, она так и не оправилась). Ещё я добавила, что не обязательно иметь партбилет, чтобы быть коммунистом. После этого гордо вышла и побежала в кино, где меня ждали.

Теперь у меня принимают членские взносы сразу за полгода и без скандалов. А моя совесть чиста: я искренне уверена, что работая на земле, гораздо больше приношу пользы обществу, чем изображая «бурную деятельность» в ЖЭК'е.

Кстати: мой отец вступил в партию в тридцатые годы, долго был кандидатом (поскольку был служащим, то есть не имел рабочей закладки). Он был убеждённым членом партии, ездил уполномоченным «погоняльщиком» по колхозам на заготовки и т. п. Всегда вёл семинары по истории партии, философии, посещал лекции по международному положению и сам их читал. Моя мама вступила в члены партии уже лет в 60 (точно не помню), чтобы быть ближе к папе, которого очень любила, но активно никогда не проявляла себя, а работала по профсоюзной линии.

Может быть, моих внуков-правнуков заинтересует, не вступила ли я в партию ради карьеры? Увы, я её так и не сделала. Я не любила административную работу, не любила командовать (кроме как в своей семье – есть такой грех). Не могу сказать, что не была тщеславной – как, очевидно, все люди, но моё тщеславие было в другом: организовать урок, утренник, сбор так, чтобы ребятам это понравилось. И потом – мне нравилось выступать с докладом и чтобы было не шаблонно, не официально. Это мне часто удавалось. Господи! Сколько же докладов я делала (и лекций). Особенно за шесть последних лет работы завучем.

Я была членом «Общества распространения знаний», раза два в месяц получала путёвку и ездила с лекциями на педагогические темы – то на родительские собрания в школы (в Матвеевку, Очаково, Востряково), то куда-нибудь на кирпичный завод и даже... в отделение милиции. Представьте: в «красном уголке» милиции сидят в форме человек 30 милиционеров, а я им читаю лекцию о культуре поведения! Начала, между прочим, с того, как заснула в вагоне метро, доехала до «Киевской» (конечной), а милиционер входит в вагон и говорит мне: «Бабка, приехали, выходи!». А я считала, что уж на «бабку» никак не похожа.

Обычно после моих выступлений родители задавали много вопросов, а когда я выступала на совещаниях завучей или учительских конференциях, то мне всегда много хлопали. Почему хлопали? Потому, вероятно, что я никогда не выступала по написанному. Если и была в руках бумажка с планом, я в неё забывала посмотреть. Потом я сама увлекалась и заражала других. И старалась сказать только своё.

Самые удачные выступления:

1. На Всесоюзной конференции по внеклассной работе. Она была в музее Пушкина на Кропоткинской. Я рассказывала об олимпиаде по русскому языку. Мне дали десять минут, но зал кричал, чтобы продлили, и я говорила минут сорок, кое-что повторяла, чтобы успели записать. В перерыве (я сидела в президиуме) многие ко мне подходили, жали руку и благодарили.

2. На встрече в библиотеке с писателем Тендряковым, когда все его восхваляли, а меня взяло зло, я выступила последняя и изругала его (культурно) за то, что у него все учителя в книгах аморальны, слабохарактерны и вообще несимпатичны. В заключительном слове Тендряков одну меня только и упоминал и поблагодарил. После этой встречи ко мне в гардеробе подошла совершенно незнакомая учительница и сказала, что помнит, как я выступала лет десять назад (!) на партактиве.

Зато я помню, как мне предложили выступить на партконференции и в РОНО потребовали напечатать текст для утверждения в райкоме партии. Когда я в райкоме сказала, что по бумажке выступать не умею, они на конференции просто не дали мне слова для выступления. Вот так. Интересно, всегда ли в будущие времена у нас будут все со школьного до пенсионного возраста выступать по бумажке? А те, кто без бумажки, текст вызубривают. Просто ужасно.

Нашла библиотечную книжку 6.12.82

Событие: я нашла библиотечную книжку, которую с лета не могли найти ни Ганя, ни Саша, а у меня руки не доходили поискать как следует. Это «Белый пудель» Куприна. Уж Витя привёз «Пуделя» из Сашиних книг в Москве, чтобы его сдать, но мне было жалко отдавать книжку с чудными иллюстрациями Монахова. Решила всё перевернуть. Начала со стопки папок на полке возле окна, в ней и лежала эта книжечка. А ведь эту стопку перебирали.

Сегодня утром развила кипучую деятельность под заглавием: «Лень вешать на ремень». Всё откладывала противную работу: перебрать ведро с солёными огурцами, переложить хорошие в банки, всё вымыть. На самом-то деле я осталась такой же ленивой, какой была и девчонкой, но я заставляю себя усилием воли всё делать. Наконец взялась – и уже с разгону не только покончила с огурцами, но заодно вымыла бачки от питьевой воды, изнутри и снаружи, натаскала воды, вымыла раковину и т. д.

Опомнилась только когда пришел Амелькин (сосед). Он принёс большой кусок сала (они зарезали боровка); как он сам объяснил, потому что я ему привожу сигареты. Амелькин долго сидел у нас, разговаривали о политике и о войне. Дома ему не с кем поговорить. По этому случаю я разговелась: нажарила лука с салом и немного картошки, а потом до вечера пила чай и воду. Сало у нас в основном для синичек.

Письма от Деи, Иры и Клавы (из Чимкента).

Ира прислала отличную фотографию: Матвей сидит на горшке с книжкой, а Марик его обнимает. Просто прелесть. Разумеется, я говорю это не как бабушка...

Профсоюз 8.12.82

Вчера допоздна засиделся Ганя, писать было невозможно.

Была вчера в магазине, получила за бутылки 3,6 килограмма яблок, то есть продавщица рассчиталась милостиво (18 копеек бутылка). Если кто – вдруг! – приедет, будет начинка для пирожков. Кроме того, отлично прогулялась с Бимом.

Сегодня опять пошла в магазин – в основном ради прогулки, пока хорошая дорога и погода. Купила батоны, сахарный песок (не таскать из города) 2 килограмма, маргарин.

Сварила себе борщ. Очень вышел вкусный – заправлен салом.

«Профсоюзы – школа коммунизма». Это нам вдалбливали с юности. Я через эту школу прошла.

Конечно, учительский профсоюз – не производственный. На производстве профсоюз имеет больше средства, содержит пионерлагеря, санатории, даёт рабочим бесплатные путевки и т. д. А что может делать местком профсоюза в школе? Помогать администрации проводить мероприятия, ругать кого-то за нарушения дисциплины, за плохую работу... Но всё это делается формально и никому не нужно. О месткоме вспоминают только во время редких конфликтов учителя с администрацией, разных скандалов, да ещё когда надо подписать ходатайство или характеристику для получения жилплощади или поездки за рубеж.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.